
18+

Никита Никитин

Семь ворот

«Автор»
2026

Никитин Н. Ю.

Семь ворот / Н. Ю. Никитин — «Автор», 2026

Иштар, богиня любви и войны, спустилась в царство мёртвых. У каждых из семи ворот с неё сняли одну из её сил: венец, серьги, ожерелье, браслеты... Назад её отпустили лишь в теле смертной девушки и с долгом, который придётся уплатить.Теперь её зовут Сабиту, и за ней по пятам идут демоны подземного мира. Они заберут любого, кого она пожалеет.Каждый год в Уруке жребий выбирает девушку на ложе царя, и каждая мечтает, чтобы выбрали её. Сабиту - первая за сотни лет, кто готова отказать самому Гильгамешу. Царю, который гонит свой город строить великую стену. Единственному, кто сможет узнать, кто она на самом деле.Но долг богини будет уплачен лишь смертью возлюбленного. А чтобы разорвать любую связь, хватит одного «нет», сказанного вслух.Тёмное и страстное ромэнтези по мотивам древнейшей поэмы человечества - сказания о Гильгамеше.

© Никитин Н. Ю., 2026
© Автор, 2026

Никита Никитин
Семь ворот

Никитин Никита Юрьевич

Семь ворот

От великого неба к великой бездне обратила она свой слух.
Богиня от великого неба к великой бездне обратила свой слух.
Иштар от великого неба к великой бездне обратила свой слух.

Из шумерской песни о нисхождении богини

Глава первая

Венец неба

Каждую ночь Урук молился ей, и каждую ночь Иштар скучала.

Молитвы поднимались с плоских крыш, как дым от очагов, тёплые, жирные, пахнущие луком, потом и прогорклым маслом. Она лежала на верхней площадке своего храма, на кирпичах, которые ещё хранили дневной жар, и слушала их так, как слушают мух над разлитым пивом. Не отгоняла. Не вслушивалась.

«Пусть он посмотрит на меня, Владычица».

«Пусть она родит мне сына».

«Пусть мой муж забудет ту, с канала».

«Пусть он вернётся с войны живым».

«Пусть полюбит. Пусть полюбит. Пусть полюбит».

Люди просили любви чаще, чем хлеба. Иштар это всегда забавляло. Хлеб хотя бы можно съесть.

Внизу, под ступенями храма Эанна, город спал вповалку, как пьяный после праздника. Кирпичные дома лепились друг к другу боками. Переулки были такими узкими, что двое прохожих не могли разойтись, не задев друг друга локтями. Каналы чернели между кварталами, как вены под кожей, и пахли тиной. Где-то блеяла коза. Где-то плакал младенец, тонко и упорно, будто знал, что его никто не услышит.

Его слышала Иштар. Она слышала всех.

Она подняла руку и посмотрела на неё в свете звёзд. Кожа светилась изнутри, ровно и спокойно, как светится вода в колодце, если бросить туда факел. На запястьях лежали золотые браслеты, тяжёлые, тёплые. Она носила их с тех пор, как появилось время, и не помнила их веса. Бог не замечает того, что принадлежит ему. Так человек не замечает собственных зубов, пока они не начинают болеть.

- Владычица, - прошептал кто-то во дворе храма.

Голос был живой, не молитвенный. Иштар повернула голову.

У жертвенника, на коленях, стоял молодой гончар. Руки у него были серые от глины до самых локтей, и даже сейчас, в темноте, он мял пальцами край набедренной повязки, как мнут сырой ком на гончарном круге. Перед ним лежала его жертва: две лепёшки и глиняная фигурка девушки. Фигурка была хорошая, с тонкой шеей, с косами, уложенными кольцом. Он слепил её с любовью. Это было видно.

- Её зовут Нинлиль-ама, - шептал гончар. - Дочь пивовара с нашей улицы. Она смеётся надо мной. Сделай так, чтобы она меня полюбила. Я принесу тебе козлёнка. Двух козлят. Сделай, Владычица.

Иштар улыбнулась.

Это было нетрудно. Ничто не было для неё трудным. Она нашла дочь пивовара мыслью, легко, как находят знакомую бусину в шкатулке. Девушка спала на крыше отцовского дома,

раскинув руки, и во сне чему-то хмурилась. Иштар коснулась её сердца. Не рукой, рука для этого не нужна. Просто взяла это сердце, как берут глину, повернула и сжала.

На крыше пивовара девушка застонала во сне и проснулась. Села. Прижала ладонь к груди. Её глаза, мутные со сна, стали вдруг ясными и страшными, и она, не надев сандалий, пошла к лестнице.

Иштар смотрела, как она идёт по ночной улице. Босая, растрёпанная, с открытым ртом. Прямо к храму. Прямо к гончару, который ещё стоял на коленях и ничего не знал.

Завтра дочь пивовара будет ходить за ним по пятам, как собака. Через месяц она перестанет есть, если он не посмотрит на неё за ужином. Через год он устанет от неё и захочет другую, и придёт снова, и попросит снова, и снова принесёт двух козлят.

Люди всегда возвращались. Иштар любила это в них больше всего. Если только можно назвать любовью то, что она к ним чувствовала.

Она не знала. Ей никогда не приходило в голову спросить.

* * *

Одного голоса она не слышала никогда.

Иштар перевернулась на живот, подперла подбородок ладонями и посмотрела на север, туда, где над крышами горели факелы.

Там строили стену.

Стену Урука строили третий год, днём и ночью, в жару и в дожди, и она уже сейчас была выше любой стены на земле. Кирпич за кирпичом, ряд за рядом. Обожжённый кирпич, дорогой, как серебро. Люди таскали его в корзинах на спинах, по сходням, вверх, вверх, и падали, и вставали, и снова таскали. Когда кто-нибудь падал и не вставал, его оттаскивали в сторону, а на его место ставили другого. Мужчины Урука забыли, как выглядят их дома при свете солнца. Женщины Урука забыли, как выглядят их мужья.

Стену строил царь. Гильгамеш, сын богини Нинсун и смертного царя Лугальбанды, на две трети бог, на одну треть человек.

Весь Урук молился Иштар. Даже его мать иногда присылала ей благовония, вежливо, как присылают подарки соседке. Но сам он не молился ей ни разу. Солнцу, Шамашу, он молился. Своей матери. Иногда, говорили, отцу Ану. Ей - никогда.

Он стоял на самом верху, на свежей кладке. Иштар видела его так же ясно, как видела бы днём. Высокий. Слишком высокий для смертного, на голову выше любого из строителей. Голый по пояс, в одной набедренной повязке, перепачканной известью. Волосы чёрные, тяжёлые, заплетены в одну толстую косу. На плечах блестел пот, и в свете факелов казалось, что кожа у него медная. Он что-то кричал вниз, людям с корзинами, и они бежали быстрее.

Иштар это раздражало, как раздражает камешек в сандалии. Мелочь. Пустяк. Но идёшь и чувствуешь его каждым шагом.

Царь вдруг замолчал. Выпрямился. Повернул голову.

И посмотрел прямо на неё.

Смертные не могли её видеть, если она не хотела. Но он был смертным только на одну треть. Иштар почувствовала его взгляд, как чувствуют на коже солнце сквозь тонкую ткань. Он смотрел на вершину храма через весь спящий город. Долго. Без страха. Без благоговения. Так смотрит один хищник на другого через водопой.

Потом отвернулся. Не поклонился. Даже не опустил глаз.

Иштар села.

- Наглец, - сказала она вслух.

Голос её прокатился по крышам, и в доме у канала залаяли собаки, а младенец, плакавший полночи, вдруг замолчал.

* * *

Ниншубур пришла перед рассветом.

Она поднималась по ступеням храма бесшумно, как ходят только старые воины и старые служанки. Ниншубур была и тем и другим. Высокая, широкоплечая, с кожей тёмной, как речной ил, и с белыми шрамами на руках - от ножей, от зубов, от когтей, от всего, чем пытались добраться до её госпожи за тысячи лет. Она служила Иштар с самого начала. Она была единственной, кто говорил Иштар правду, и единственной, кому Иштар это прощала.

- Госпожа, - сказала Ниншубур, останавливаясь на две ступени ниже. Так полагалось. - Вести снизу.

- Снизу? - Иштар лениво приподняла бровь. - Из нижнего мира не бывает вестей. Оттуда никто не возвращается, чтобы их принести.

- Эти принёс ветер. - Ниншубур помолчала. - Гугаланна умер. Муж твоей сестры. Небесный бык.

Иштар молчала.

Она помнила Гугаланну. Огромного, белого, с рогами из лазурита, с дыханием, от которого горела трава. Когда-то он пасся на небесных лугах у отца Ану, и земля дрожала под его копытами. Потом его отдали в мужья Эрешкигаль, царице мёртвых, и он ушёл вниз, и больше его никто не видел. Боги не любили говорить о нём, как не любят говорить о родственнике, которого выдали замуж в бедную семью.

- От чего умирает бык, который живёт среди мёртвых? - спросила Иштар.

- Говорят, от тоски.

Иштар засмеялась. Ниншубур не засмеялась.

- Твоя сестра плачет, - сказала она. - Ветер говорит, что она плачет девятый день. Что весь нижний мир плачет вместе с ней. Что мёртвые перестали есть свою глину и пить свою пыль, сидят и плачут.

- Пусть плачет. - Иштар встала. Ветер с реки взялся за её платье и прижал к телу. - Она всегда плакала. Ещё когда мы были девочками, а мир был мягким, как сырой кирпич. Отец отдал небо Ану, землю Энлилю, а ей - то, что осталось внизу. Мне он не отдал ничего, и я взяла сама. Она не взяла ничего. Она только плакала.

- Госпожа...

- Тише.

Иштар подошла к краю площадки и посмотрела на запад, туда, где за рекой лежала пустыня. Там, далеко, за краем возделанной земли, начиналась дорога вниз. Все знали, где она. Никто не ходил по ней по своей воле.

Внизу, под землёй, лежали все, кто когда-либо жил. Цари и рабы, жрецы и пастухи, матери и младенцы, герои, о которых пели песни, и те, о ком не пел никто. Все. Каждый. Сколько их? Иштар никогда не считала. Больше, чем звёзд. Больше, чем песчинок в пустыне. И все они принадлежали её сестре.

Не молились ей. Не просили. Не торговались, не обещали козлят. Просто принадлежали. Целиком. Навсегда.

У Иштар было небо. У Иштар была земля, вся, от гор до моря, и каждый, кто на ней любил, ревновал, воевал и желал, был её. Но живые уходят. Их любовь кончается, войны кончаются, они стареют и спускаются вниз. К сестре. И там, внизу, они больше не помнят Иштар.

- Я спущусь, - сказала она.

Ниншубур не вздрогнула. Только шрамы на её руках вдруг стали казаться белее.

- Зачем?

- На похороны. - Иштар обернулась и улыбнулась. - Сестра в горе. Разве младшая не должна её утешить?

- Госпожа. - Ниншубур поднялась на ступень выше, нарушив обычай, и это было так непривычно, что Иштар перестала улыбаться. - Ты не утешать идёшь. Я знаю тебя с тех пор, как у тебя появилось имя. Ты идёшь за её троном.

- А если и так?

- Оттуда не возвращаются.

- Люди не возвращаются. - Иштар положила ладонь ей на щёку. Ладонь светилась, и тёмная кожа Ниншубур под ней стала золотой. - Я не люди.

Ниншубур молчала долго. Внизу просыпался город. Закричал первый осёл. Хлопнула первая дверь. На стене погасили факелы, и строители, которые работали всю ночь, повалились спать прямо на кирпич, не дойдя до дома.

- Что мне делать, если ты не вернёшься? - спросила наконец Ниншубур.

И Иштар, которая никогда ни о чём не просила, сказала ей то, что потом, много позже, не могла вспомнить без дрожи.

- Если я не вернусь через три дня, - сказала она, - бей в барабан у дверей собрания богов. Рви на себе одежду. Царапай лицо. Иди к Энлилю и скажи: отец, не дай твоей дочери умереть внизу. Если Энлиль не поможет, иди к Нанне, к луне. Если и Нанна не поможет, иди к Эа. Эа знает пищу жизни. Эа знает воду жизни. Он меня вернёт.

- А если не вернёт?

Иштар посмотрела на неё.

- Тогда, - сказала она, - ты будешь свободна, Ниншубур. Впервые с начала мира. Посмотрим, как тебе понравится.

* * *

Она одевалась долго.

Не потому, что торопиться было некуда. Потому, что каждая вещь была не просто вещью, и Иштар хотела, чтобы сестра это увидела.

На голову она надела венец неба. Тонкий золотой обруч, а над ним сияние, которое не было ни золотом, ни огнём. В венце жила её власть. Перед ним склонялись цари и звери, и даже боги, проходя мимо, отводили глаза.

В уши она вдела серьги из лазурита. Синие, как ночное небо над пустыней, длинные, до самых плеч. В серьгах жил её слух. Через них к ней приходили молитвы, все до одной, со всей земли.

На шею она надела ожерелье из мелких лазуритовых бусин в три ряда. В ожерелье жил её голос. Когда она приказывала, ожерелье звенело, и мир исполнял приказ.

На грудь она положила украшение из золотых пластин, соединённых в узор, похожий на раскрытый цветок. Его называли «Приди, приди». В нём жила её власть над желанием. Тот, кто на него смотрел, хотел. Сам не знал чего. Просто хотел.

На запястья она надела золотые браслеты, тяжёлые, как кандалы, и прекрасные, как кандалы, сделанные для царицы. В них жила её сила войны. Когда Иштар шла в битву, браслеты пели, и враги бежали, ещё не увидев её.

В руку она взяла жезл и мерную верёвку из лазурита. Жезлом отмеряют, верёвкой вымеряют. Так строят храмы, так делят поля, так боги отмеряют людям их судьбы. В жезле и верёвке жило её знание: она видела каждую судьбу на земле от начала до конца.

И последним она надела царское платье. Белое, тонкое, такое тонкое, что сквозь него просвечивала кожа, а кожа светилась сквозь него. Платье было соткано из её имени. Так говорили древние песни, и это была правда. Пока на ней было это платье, мир помнил, кто она такая. И она сама помнила.

Семь вещей. Семь сил. Она не замечала их веса так же, как не замечала собственного дыхания.

Ниншубур проводила её до края пустыни и осталась стоять там, на последнем возделанном поле. Иштар не оглянулась. Она знала, что служанка будет стоять там, пока её видно, а потом ещё долго после.

Солнце поднималось за спиной. Перед ней лежала тень, длинная, тонкая, и указывала на запад. Туда, куда уходят мёртвые.

* * *

Дорога вниз начиналась с трещины в земле.

Ничего особенного: щель в сухой глине, какие бывают в пустыне в конце лета. Узкая, кривая, тёмная. Пастух прошёл бы мимо и не заметил. Но из трещины тянуло холодом, а в пустыне в полдень не бывает холода. И пахло оттуда не так, как пахнет земля. Пахло мокрой глиной, старой золой и хлебом, который пролежал в закрытом горшке слишком долго.

Иштар ступила в трещину, и трещина раскрылась перед ней, как рот.

Ступени уходили вниз. Глиняные, стёртые, кривые, будто их протоптали за тысячи лет босые ноги. Свет за спиной становился всё уже, потом стал полоской, потом ниткой, потом исчез. Но Иштар не нужен был свет. Она светилась сама.

Ступени кончились у ворот.

Ворота были огромными, выше храма Эанна, из чёрного камня, какого нет на земле. В них не было ни резьбы, ни украшений, ни надписей. Только засов, толстый, как ствол пальмы. И у засова сидел привратник.

Он был серым. Весь, от лысой головы до босых ступней, серый, как зола, и такой же сухой. Глаза у него были белые, без зрачков, и смотрели они не на неё, а сквозь неё. На коленях лежал ключ.

- Нети, - сказала Иштар. Она знала его имя. Она знала имена всех. - Открой.

Привратник Нети не пошевелился.

- Кто ты, - сказал он, и это прозвучало не как вопрос, а как мёртвый лист, упавший на камень.

- Я Иштар. Владычица неба. Царица земли. Утренняя и вечерняя звезда. Открой.

- Зачем ты пришла туда, откуда не возвращаются?

- Мой зять, Небесный бык, умер. Я пришла на похороны. Открой, Нети. - Она шагнула ближе, и её свет упал на серое лицо привратника, но лицо осталось серым. - Открой, или я выломаю дверь. Я разобью засов. Я вырву косяки. Я подниму мёртвых, и они съедят живых, и мёртвых станет больше, чем живых.

Это не было пустой угрозой. Иштар могла. Она чувствовала, как сила поднимается в ней, горячая, весёлая, как вино. Браслеты на запястьях запели.

Нети медленно поднялся.

- Подожди, госпожа, - сказал он. - Я скажу о тебе моей царице.

И ушёл. Не через ворота. Сквозь них, как уходит дым сквозь тростниковую крышу.

Иштар ждала. Время здесь текло странно, густо, как мёд в холодный день. Она не знала, сколько простояла у ворот. Может быть, мгновение. Может быть, год. Наверху, она знала, Ниншубур считает дни.

Нети вернулся так же, сквозь камень.

- Войди, госпожа, - сказал он и поклонился. Это был первый поклон, который она получила здесь, и почему-то он ей не понравился. - Моя царица говорит: пусть войдёт. Пусть с ней поступят по древним законам.

Засов поднялся сам, без звука. Ворота открылись внутрь.

* * *

Она переступила порог, и Нети снял с неё венец.

Он сделал это легко, почти ласково, двумя серыми пальцами, как снимают паутину с волос. Иштар не успела поднять руку. Венец неба оказался у него в ладони, и сияние над ним погасло, как гаснет лампа, когда кончается масло.

И что-то ушло.

Она не сразу поняла что. Просто мир вокруг вдруг стал тяжелее. Камень под ногами стал камнем, твёрдым и холодным, и она почувствовала его ступнями. Раньше она никогда не чувствовала, на чём стоит. Воздух стал воздухом, густым, сырым, и ей пришлось его вдохнуть. Тени по углам перестали отползать от неё. Они просто лежали, где лежали.

- Что это? - Голос у неё сорвался. - Что ты сделал?

- Молчи, Иштар, - сказал Нети. - Законы нижнего мира совершенны. Не открывай рта против законов нижнего мира.

Он положил венец на землю у ворот. Венец лежал там, в пыли, тусклый, как медная миска.

Иштар смотрела на него, и ей хотелось нагнуться и взять его. Она не нагнулась. Она была Иштар. Иштар не нагибается за вещами.

Она пошла дальше.

* * *

Вторые ворота стояли через сто шагов. Или через тысячу. Коридор между ними был узким, низким, и по стенам тянулись полосы, будто кто-то провёл по глине ногтями. Много раз. Много пальцев.

У вторых ворот Нети уже ждал её. Как он оказался впереди, она не видела.

Он снял с неё серьги.

Сначала она ничего не почувствовала. Только лёгкость в мочках ушей, где тысячи лет висела тяжесть лазурита.

А потом наступила тишина.

Иштар остановилась.

Она никогда не слышала тишины. Ни разу. С тех пор как появилась на свет, к ней шли голоса. Днём и ночью, во сне и наяву. «Пусть полюбит. Пусть родит. Пусть вернётся. Пусть умрёт мой враг. Пусть пойдёт дождь». Миллионы голосов, они сливались в шум, как шумит далёкое море, и этот шум был её миром. Она не слушала его. Но он был всегда.

А теперь его не стало.

Где-то наверху, она знала, люди продолжали молиться. Гончар благодарил её за дочь пивовара. Женщины у канала просили сыновей. Но их голоса падали в пустоту и не доходили никуда. Никто их не слышал.

И её саму тоже никто не слышал.

- Что это? - прошептала она.

- Молчи, Иштар. Законы нижнего мира совершенны.

Ей показалось, что серые губы Нети чуть дрогнули. Может быть, в улыбке. Может быть, нет. Здесь ничего нельзя было знать наверняка.

Она пошла дальше. Шаги её звучали громко, слишком громко в этой новой тишине, и каждый шаг она слышала. Своё дыхание она тоже слышала. И своё сердце.

У богов нет сердца, которое можно услышать. Так она думала всегда.

Оказалось, есть.

* * *

У третьих ворот Нети снял с неё ожерелье.

Три ряда лазуритовых бусин соскользнули с шеи, как вода. Иштар схватила их, но пальцы поймали пустоту. Ожерелье уже лежало у Нети на ладони, синее, тихое, мёртвое.

- Верни, - сказала она.

И услышала свой голос.

Не тот голос, от которого лаяли собаки по всему Уруку. Не тот, от которого на поле битвы бежали враги. Просто голос. Женский. Звонкий, злой и совсем, совсем обычный. Он ударился о чёрный камень ворот и вернулся к ней жалким эхом. Верни, верни, верни.

Нети даже не поднял головы.

- Здесь все говорят одинаково, госпожа, - сказал он. - Шёпотом. Ты привыкнешь.

- Я не собираюсь привыкать. Верни мне ожерелье. Это приказ.

- Молчи, Иштар, - сказал Нети в третий раз, и в третий раз это прозвучало так же ровно и мёртво, как в первый. - Законы нижнего мира совершенны.

Ворота открылись.

За ними было темно. Её свет больше не доставал до стен. Он лежал вокруг неё маленьким кругом, на два шага, на шаг, как свет от плошки с маслом. Дальше начиналась тьма. Настоящая. Такая, какую видят люди, когда закрывают глаза.

Иштар вошла.

* * *

Она услышала его раньше, чем почувствовала.

Шаги. Рядом с её шагами. Тихие, мягкие, без звука, если только у отсутствия звука может быть звук. Кто-то шёл рядом с ней в темноте, плечом к плечу, на самой границе её маленького света. Шёл и не отставал.

Пахло мокрой глиной. Так пахнет яма, которую выкопали для мертвеца и оставили на ночь открытой.

Иштар не повернула головы. Она была Иштар. Иштар не оборачивается.

Что-то коснулось её запястья.

Холодное. Мягкое. Похожее на пальцы, но слишком длинное для пальцев. Оно легло на золотой браслет, огладило его, медленно, с удовольствием, как гладят вещь, которую уже считают своей.

- Это возьмут на пятых, - прошептал голос у самого её уха. Голос был сухой, как песок, и в нём не было ничего. Ни злобы, ни насмешки, ни голода. Ничего. - А это на седьмых.

Холодное скользнуло по её плечу, туда, где лежало платье. Платье, сотканное из её имени.

- А потом мы пойдём с тобой наверх, - сказал голос. - Вместе. Мы всегда ходим вместе с теми, кто возвращается. Ты нам кое-что задолжаешь.

- Я ничего никому не должна, - сказала Иштар.

Голос не ответил. Холод на плече исчез. Шаги рядом продолжались.

Иштар шла вниз, в темноту, и впервые с начала мира ей было страшно.

Это было странное чувство. Новое, острое, как вкус незрелого граната. Оно сидело где-то под рёбрами, там, где раньше у неё ничего не было, и мешало дышать. Ей хотелось остановиться. Ей хотелось вернуться к первым воротам, поднять из пыли свой венец и бежать наверх, к свету, к солнцу, к шуму молитв.

Она не остановилась. Иштар не возвращается за потерянным. Она сжала кулаки, так что ногти впились в ладони, и почувствовала боль. Тоже впервые.

Впереди, в темноте, проступили очертания четвёртых ворот.

Глава вторая
Стена

Мертвецов по Евфрату несло всегда.

Гильгамеш увидел их впервые, когда ему было семь. Отец взял его на стену, ту, старую, низкую, из сырого кирпича, которую потом снесли. Был разлив, река вышла из берегов, бурая, широкая, ленивая, и по ней, медленно поворачиваясь, плыли тела. Утопленники из верхних деревень. Пастух в овечьей шкуре. Женщина с распущенными волосами. Ребёнок, маленький, лицом вниз, как будто что-то разглядывал на дне.

- Кто они? - спросил Гильгамеш.

- Никто, - ответил отец. - Теперь уже никто.

Отец, царь Лугальбанда, сказал это спокойно, как говорят о погоде. Гильгамеш запомнил не слова, а спокойствие. Он смотрел на ребёнка, лицом вниз, пока того не унесло за поворот, и

думал: у него было имя. Мать звала его по имени. А теперь он никто, и река несёт его к морю, и никто на берегу не знает, как его звали.

Через четыре года река понесла отца.

Не по-настоящему, конечно. Царя Урука не бросают в реку. Его положили в гробницу под дворцом, с золотом, с колесницей, с убитыми слугами, чтобы было кому прислуживать внизу. Но Гильгамеш стоял у гробницы и видел реку. Бурую воду. Медленный поворот тела. И знал, что через сто лет никто не вспомнит, как звали этого человека, которого он любил.

Тогда ему было одиннадцать. Теперь двадцать шесть. Он перестал бояться всего на свете, кроме одного.

* * *

Утром после той ночи он не ложился.

Строители спали прямо на кирпичах, вповалку, кто где упал. Солнце поднялось над рекой, и тени от их тел легли на свежую кладку, длинные, неподвижные. Похоже на поле после битвы. Гильгамеш шёл между ними по верху стены и считал. Не людей. Ряды кирпича.

Сорок локтей в высоту. В двух местах уже сорок пять. Девять ворот. Девятьсот башен будет, когда закончат. Обожжённый кирпич, каждый с царским знаком. Его знаком. Через тысячу лет кто-нибудь поднимется на эту стену, проведёт рукой по кирпичу и прочтёт: Гильгамеш.

Через тысячу лет он будет никем. Но стена будет знать его имя.

Он остановился у края и посмотрел на юг, на город. Отсюда, сверху, Урук был похож на рассыпанные игральные кости. Дома, дворы, кривые улицы. А посреди всего, над всем, белая громада храма Эанна, ступенями уходящая в небо. Храм Иштар. Её именем клялись торговки на рынке и проститутки у городских ворот. Её статуе мыли ноги молоком. Ей молились о любви все, от царских жён до последней рабыни.

Он ей не молился. Никогда. Ему не о чем было её просить.

- Царь.

Гильгамеш обернулся. Перед ним стоял старший над строителями, Ур-Лугаль. Седой, жилистый, обожжённый до черноты. Он строил ещё старую стену при Лугальбанде. Он единственный на всей стройке не боялся царя. Или боялся, но умел это прятать.

- Говори.

- Люди не встанут сегодня. - Ур-Лугаль кивнул на спящих. - Третью ночь подряд работали. Двое вчера упали со сходней. Один разбил голову, другой сломал спину. Тот, что со спиной, к утру умер.

- Как его звали?

Ур-Лугаль моргнул. Он не ждал этого вопроса.

- Не знаю, царь. Из пригнанных. Из деревень у Ниппура.

- Узнай.

- Зачем?

Гильгамеш не ответил. Он сам не знал зачем. Он спрашивал это каждый раз, и каждый раз ему отвечали «не знаю», и каждый раз он говорил «узнай», и никто никогда не узнавал. Это было глупо. Он это понимал. Мёртвому всё равно, помнят ли его имя.

Живым не всё равно.

- Пусть спят до полудня, - сказал он. - В полдень поднимай.

- Царь, они не...

- В полдень, Ур-Лугаль.

Старик помолчал. Посмотрел на царя тем взглядом, каким смотрят на бурю: с уважением, без любви.

- В полдень, - сказал он.

* * *

В полдень Гильгамеш спустился в город.

Это тоже было каждый день, и город это ненавидел. Каждый полдень на площади перед дворцом собирали юношей. Не тех, кто таскал кирпич, тех оставляли на стене. Других: сыновей торговцев, писцов, жрецов. Тех, у кого были мягкие руки и отцы, которые могли откупить их от стройки. От площади Гильгамеш их не откупал никто.

Он выходил к ним без оружия, в одной набедренной повязке, и вызывал.

Борьба. Бег. Метание камня. Кто поднимет больше. Кто дольше удержит на вытянутых руках мешок с песком. Кто устоит против царя, пока песок в часах пересыпается из одной чаши в другую.

Никто не устоял ни разу.

Сегодня первым вышел сын хранителя зерна. Высокий, гибкий, с хорошими плечами. Он продержался дольше, чем остальные за весь прошлый месяц. Три раза уходил из захвата. Один раз даже свалил Гильгамеша на колено. Площадь ахнула. Потом Гильгамеш взял его за пояс, поднял над головой, как поднимают мешок с ячменём, и положил на землю. Не бросил. Положил.

Юноша лежал и смотрел в небо. Из носа у него текла кровь.

- Ты хорошо дрался, - сказал Гильгамеш. - Как тебя зовут?

- Мес-ки-ага, царь.

- Завтра снова выйдешь, Мес-ки-ага.

Юноша закрыл глаза.

Гильгамеш выпрямился и обвёл взглядом площадь. Юноши стояли полукругом, бледные, с опущенными головами. За ними, в тени домов, стояли их матери. Он видел их лица. Видел, как они на него смотрят. Так смотрят на засуху, на саранчу, на разлив, который смыл посевы. На то, что нельзя остановить и с чем нельзя договориться.

Никто из них не понимал. Ему не нужно было их унижать. Ему нужно было, чтобы хоть один устоял.

Хоть один. Чтобы можно было опустить руки, отступить на шаг, засмеяться и сказать: ну наконец-то. Наконец-то есть кто-то, кто равен мне.

Его не было. Ни здесь, ни на стене, ни во всём Уруке. Ни в Кише, ни в Уре, ни в Лагаше. Мать как-то сказала ему, что боги сделали его слишком большим для этого мира. Как сосуд, в который налили больше, чем он может вместить. Он тогда засмеялся. Сейчас ему было не смешно.

- Следующий, - сказал он.

* * *

Мать приняла его вечером в своём доме при храме.

Богиня Нинсун жила не на небе и не под землёй, а здесь, в Уруке, в доме из белёного кирпича у западного канала. Так было с тех пор, как она полюбила смертного царя Лугальбанду и родила ему сына. Боги на совете, говорили, долго ворчали. Потом привыкли.

Её называли Дикой Коровой. Не в насмешку. Корова - мать, корова кормит, корова терпелива и могуча. Глаза у Нинсун и правда были коровьи: огромные, тёмные, влажные, с длинными ресницами. Она смотрела ими на сына так, как смотрела на него в колыбели. Он уже давно перестал это выносить.

- Ты не спал, - сказала она.

- Не спал.

- И твои люди не спали.

- Мама.

- Я ничего не говорю. - Нинсун налила ему пива в чашу из алебастра, тонкую, полупрозрачную. Сама не пила. Боги пьют только то, что им приносят на алтарь. - Я просто считаю. Ты тоже любишь считать. Сорок локтей, девятьсот башен. Я считаю другое. Сколько мужчин

ушло на стену за эти три года. Сколько вернулось. Сколько детей родилось в Уруке за эти три года. Ты знаешь, сколько?

Он не знал.

- Меньше, чем умерло на твоей стройке, - сказала мать.

Гильгамеш поставил чашу.

- Стена защитит их детей.

- Каких детей, сынок? Тех, кого не родят, потому что их отцы ночуют на кирпичах?

Он встал. Подошёл к окну. Окно смотрело на запад, на канал, на поля за каналом, на жёлтую полосу пустыни у самого края неба. Солнце садилось. Пустыня горела красным.

- Ты помнишь отца? - спросил он, не оборачиваясь.

- Каждый день.

- Кто ещё помнит? Кроме тебя и меня? Ур-Лугаль, может быть. Пара старух на рынке. Через двадцать лет не будет и их. А через сто... - Он замолчал. - Его ведь звали Лугальбанда, мама. Он был великим царём. Он дошёл до гор Аратты. А через сто лет его имя будет значить столько же, сколько имя утопленника в реке.

Нинсун долго молчала.

- Поэтому стена, - сказала она наконец. Не спросила.

- Поэтому стена.

- А если бы ты знал, что тебя запомнят? Без стены?

Он обернулся. Мать смотрела на него своими огромными тёмными глазами, и он вдруг понял, что она знает что-то, чего не знает он. Так бывало часто. Он это ненавидел.

- Что ты видела? - спросил он.

Нинсун толковала сны. Свои, чужие, божественные, человеческие. В Уруке говорили, что она видит будущее так же ясно, как отражение в чаше с водой. Это было не совсем правдой. Она видела не будущее, а его тени. Иногда этого хватало.

- Ничего, - сказала она. - Пока ничего. - Она помолчала. - Через месяц Новый год, сынок.

Гильгамеш скривился.

- Опять.

- Опять. Ты царь. Царь должен войти в храм Эанна, лечь со жрицей, которая будет Иштар в эту ночь, и сделать так, чтобы земля родила. Так было при твоём отце. Так было при его отце.

- Я знаю, как было при них. - Он вернулся к столу, взял чашу, выпил залпом. - В прошлом году я отправил вместо себя статую. Земля не перестала родить.

- Земля - нет. Жрецы - да. Они до сих пор не могут тебе этого простить. И город не может. Они говорят, что ты оскорбил богиню.

- Богиню. - Гильгамеш усмехнулся. - Мама, я не молюсь ей. Никогда не молился. Зачем мне ложиться с девчонкой, которая будет делать вид, что она Иштар?

- Затем, что ты царь.

- А если я не хочу?

- Сынок. - Нинсун взяла его за руку. Рука у неё была тёплая, мягкая, пахла молоком и травой. - Иштар не любит, когда ею пренебрегают. Она не любит ничего, кроме себя. Я ведь не прошу тебя молиться ей. Я прошу тебя быть осторожным.

Он высвободил руку. Мягко.

- Я осторожен, мама. Я построил стену.

* * *

На вторую ночь он заметил женщину.

На западе, за каналом, у самого края полей, там, где кончается вода и начинается пустыня, стояла женщина. Он заметил её ещё днём, мельком, и забыл. А ночью, в лунном свете, увидел снова. На том же месте. В той же позе.

Высокая. Широкая в плечах. Тёмная. Она стояла на последней борозде последнего поля, лицом к пустыне, и не шевелилась.

- Кто это? - спросил он у стражника.

Стражник прищурился. Долго смотрел.

- Где, царь?

- Там. У края поля. Женщина.

- Я не вижу никого, царь.

Гильгамеш повернулся и посмотрел на стражника. Тот съёжился под его взглядом, но повторил:

- Прости, царь. Там никого нет. Только поле.

Гильгамеш снова посмотрел на запад.

Она стояла. Не шевелилась. Не ела, не пила, не садилась. Ветер трепал край её одежды. В лунном свете он видел шрамы на её руках, белые, длинные, много шрамов.

На две трети бог, подумал он. Значит, на две трети вижу то, чего не видят люди.

Ему стало холодно, хотя ночь была тёплой.

* * *

Утром третьего дня Мес-ки-ага снова вышел на площадь.

С разбитым носом, с синяком в половину лица. Сам. Его никто не тащил. Он вышел в круг первым, раньше, чем Гильгамеш успел кого-нибудь вызвать, встал напротив царя и поднял руки.

Площадь затихла.

Гильгамеш посмотрел на него. Юноша был бледным. Руки у него дрожали. Но он стоял.

- Ты пришёл сам, - сказал Гильгамеш.

- Да, царь.

- Зачем?

Мес-ки-ага облизнул разбитые губы.

- Ты спросил, как меня зовут, - сказал он. - Никто никогда не спрашивал. Отец зовёт меня «эй ты». Учитель в доме табличек зовёт «лентяем». А ты спросил. - Он помолчал. - Я подумал, что если ты знаешь моё имя, то, может, однажды я тебя свалю. И ты его запомнишь.

Гильгамеш смотрел на него долго.

Потом шагнул вперёд и взял его за плечи.

Он мог бы сломать его одним движением. Мог бы поднять над головой, как вчера, и положить на землю. Мог бы.

Он держал его, пока песок в часах пересыпался из верхней чаши в нижнюю. Не давил. Не бросал. Просто держал, а Мес-ки-ага упирался изо всех сил, хрипел, скользил ногами по пыли, и пот заливал ему глаза. Когда последняя песчинка упала, Гильгамеш отпустил его и отступил на шаг.

- Ты устоял, - сказал он.

Площадь молчала.

- Ты устоял, Мес-ки-ага, - повторил Гильгамеш громче, чтобы слышали все. - Время вышло. Ты на ногах.

Юноша стоял, шатаясь, и смотрел на него. Он не понимал. Никто на площади не понимал. Гильгамеш видел их лица, юношей и матерей, и в этих лицах не было благодарности. Только страх. Новый, другой страх: если царь сегодня отпустил, что он сделает завтра?

Они правы, подумал Гильгамеш. Я и сам не знаю.

Он отвернулся и пошёл прочь с площади.

За спиной кто-то тихо сказал, думая, что царь не слышит:

- Боги, пошлите ему равного. Хоть кого-нибудь. Пусть он отстанет от наших детей.

Гильгамеш не обернулся.

Он слышал эти слова не впервые. Их шептали по ночам на крышах, писали на табличках, которые относили в храмы, бормотали над жертвенниками. Пошлите ему равного. Пусть он отстанет. Пусть он устанет. Пусть он умрёт.

Он не обижался. Он молился о том же самом.

* * *

На закате третьего дня он снова поднялся на стену.

Женщина у края поля всё ещё стояла.

Он смотрел на неё, и что-то в нём сжималось, как перед боем. Три дня. Она стояла там три дня, не двигаясь. Люди проходили мимо, гнали коз, несли воду, и никто её не видел. Только он.

Солнце коснулось пустыни.

И женщина закричала.

Это был не человеческий крик. Гильгамеш слышал, как кричат раненые, как кричат роженицы, как кричат матери над мёртвыми детьми. Это было другое. Звук шёл не из горла, а откуда-то глубже, из земли, из неба, и от него задрожал кирпич под ногами у Гильгамеша. Строители на стене ничего не услышали. Они продолжали таскать корзины. А Гильгамеш схватился за край кладки, чтобы не упасть.

Женщина рвала на себе одежду. Разрывала её на груди, на плечах, сверху вниз, и бросала клочья на землю. Потом подняла руки к лицу и провела ногтями по щекам. Медленно. Сверху вниз. На коже остались тёмные полосы.

Потом она повернулась.

И посмотрела прямо на него. Через поля, через канал, через стену. Прямо в глаза.

Лицо у неё было в крови, а глаза были сухими и страшными.

- Царь Урука, - сказала она.

Она не кричала. Но он услышал её так ясно, будто она стояла рядом, на стене, в шаге от него.

- Твоя богиня ушла вниз и не вернулась, - сказала она. - Сегодня даже боги умирают.

Гильгамеш вспомнил свет на вершине храма Эанна. Три ночи назад. Ровный, тёплый, не похожий на огонь жаровни. Он тогда решил, что жрецы жгут что-то новое, и забыл.

- Ты один её видел, - сказала женщина. - В ту ночь. Ты один из всех смертных. Запомни это. Когда она вернётся, ты единственный узнаешь её.

- Кто ты? - спросил Гильгамеш. Он не знал, слышит ли она его. - Кто вернётся?

Женщина не ответила. Она отвернулась от него, подняла руки к небу и вдруг ударила ладонями друг о друга. Звук был похож на удар в огромный барабан. Один раз. Второй. Третий.

И её не стало.

Не ушла. Не упала. Просто её не стало. На краю поля лежали обрывки одежды, и ветер уже начинал гнать их в пустыню.

Гильгамеш стоял на стене, вцепившись в кирпич, пока солнце не село совсем.

Потом посмотрел на храм Эанна.

Внизу, во дворе, жрицы зажигали лампы перед статуей богини. Статуя, золотая, с лазуритовыми глазами, смотрела в пустоту. Жрицы пели. Они не знали.

Сегодня даже боги умирают.

Гильгамеш всю жизнь думал, что смерть - это то, что отличает его на одну треть от матери. Что две трети в нём бессмертны, а одна треть сгниёт, и весь вопрос только в том, какая из них победит. Он строил стену, чтобы победили две трети.

А если смерть приходит и к богам, тогда у него нет и этих двух третей. Тогда есть только стена.

Он посмотрел вниз, на строителей с корзинами. На свежую кладку. На свой знак на каждом кирпиче.

- Факелы, - сказал он Ур-Лугалю. - Сегодня работаем всю ночь.

Глава третья

Седьмые ворота

У четвёртых ворот Нети снял с неё «Приди, приди».

Золотые пластины соскользнули с груди с тихим звоном, будто кто-то задел струну. Иштар ждала, что почувствует потерю, как у прежних ворот: тяжесть, тишину, слабость. Но ничего не случилось. Она стояла в своём маленьком круге света, и ничего не изменилось.

Потом она посмотрела на Нети.

Он стоял перед ней, серый, сухой, с её украшением в руке, и смотрел на неё. Просто смотрел. Белыми глазами без зрачков. Так смотрят на стену. На камень. На миску с водой.

Никто никогда так на неё не смотрел.

С начала мира, едва увидев её, каждый хотел. Боги хотели. Люди хотели. Звери в пустыне поднимали головы, когда она проходила мимо. Даже те, кто её ненавидел, хотели, и их ненависть была сделана из того же желания. Иштар не замечала этого, как рыба не замечает воды.

А теперь вода ушла.

Нети смотрел на неё, и в его взгляде не было ничего. Ни желания, ни страха, ни злобы. Она была для него не прекраснее глиняного горшка.

- Что это? - спросила Иштар, и сама удивилась, как тихо прозвучал её голос.

- Молчи, Иштар. Законы нижнего мира совершенны.

Она прошла мимо него, не глядя. Её плечо задело его плечо, и он не отодвинулся. Камень не отодвигается.

* * *

Коридор за четвёртыми воротами шёл вниз так круто, что ей пришлось держаться за стену. Стена была влажной и липкой, как кожа больного. По ней ползало что-то мелкое, многоногое. Иштар отдёргивала руку и снова клала её на камень, потому что иначе упала бы.

Здесь были мёртвые.

Она видела их на краю своего света. Они сидели вдоль стен, вплотную друг к другу, поджав колени к подбородку. Серые, тусклые, одинаковые. На них были одежды из перьев, слипшихся, грязных, и от этого они были похожи на больших нахохлившихся птиц, которых кто-то согнал в тесный курятник и забыл. Перед каждым стояла миска. В мисках была глина. Мёртвые брали её пальцами и ели, медленно, без всякого выражения. Потом черпали ладонями пыль из-под ног и пили её, как воду.

Иштар знала, что здесь едят глину и пьют прах. Все знали, это пели в песнях. Но одно дело знать, а другое - видеть, как старуха с проваленным ртом жуёт мокрый ком земли, и по её подбородку течёт серая слюна.

Старуха подняла на неё глаза.

- Владычица, - прошептала она. - Ты пришла.

Иштар остановилась.

- Я молилась тебе, - шептала старуха. - Всю жизнь. О муже. О сыне. Ты не дала мне ни того, ни другого. Я всё равно молилась. А потом умерла. - Она протянула к Иштар серую руку, и на ладони у неё лежал комок глины. - Хочешь? Здесь больше ничего нет. Ешь со мной.

Иштар отступила на шаг.

Старуха не обиделась. Она опустила руку, снова поднесла глину ко рту и стала жевать.

Иштар пошла дальше. Быстро, почти бегом. Вдоль стен поворачивались серые головы, птичьи, пернатые, и тянулись руки, и шептали голоса.

- Владычица...

- Я просила тебя...

- Ты обещала...

- Ты не слышала...

Она не слышала. Серьги остались у вторых ворот. Но сейчас она слышала их. Здесь, внизу, без всяких серёг, каждый голос.

Она не помнила ни одного из них.

* * *

У пятых ворот Нети снял с неё браслеты.

Она не протянула рук. Он взял их сам, сначала с правого запястья, потом с левого. Золото было тёплым, и когда оно соскользнуло с кожи, Иштар почувствовала холод там, где оно лежало. Две полосы холода, как следы от верёвки.

И сила ушла.

Это она почувствовала сразу, всем телом. Так бывает, когда долго несёшь тяжёлое и вдруг кладёшь на землю, только наоборот. Сила войны жила в ней всегда, весёлая, яростная, горячая, как вино. Когда Иштар злилась, сила поднималась к горлу, и браслеты пели, и где-то на земле начиналась битва. Теперь Иштар злилась, а сила не поднималась. Её не было. Внутри было пусто и тихо.

Она ударила Нети.

Не думая. Просто размахнулась и ударила его ладонью по лицу, как била когда-то царей, которые смели ей отказать. Рука прошла сквозь воздух, сквозь холод, и ударилась о что-то твёрдое. О его щёку. О камень.

Ладонь обожгло болью.

Нети даже не качнулся.

- Молчи, Иштар, - сказал он.

Иштар смотрела на свою руку. На ладони, там, где она ударила, кожа покраснела, а в одном месте лопнула, и выступила капля. Тёмная. Густая.

Кровь.

У богов не бывает крови. У богов в жилах течёт свет. Так она думала всегда.

Она поднесла ладонь к губам и попробовала. Солёное. Медное. Тёплое.

Как у людей.

* * *

У шестых ворот она уже не спрашивала.

Нети взял у неё жезл и мерную верёвку. Она отдала сама. Разжала пальцы, и лазурит выскользнул, лёгкий, как сухой тростник.

Мир погас.

Не свет, свет вокруг неё ещё был, слабый, на один шаг. Погасло другое. Всю свою жизнь Иштар видела судьбы. Каждого человека она видела целиком, от рождения до смерти, как видят дорогу с вершины холма. Этот умрёт в старости, окружённый внуками. Этот утонет через месяц. Эта родит семерых и похоронит пятерых. Иштар не думала об этом, как не думают о том, что у людей есть лица. Просто видела.

Теперь она смотрела на Нети и видела только Нети. Серое лицо. Белые глаза. Больше ничего. Ни прошлого, ни будущего. Только то, что было перед ней сейчас.

И на себя, если бы могла посмотреть, она увидела бы то же самое. Женщину в коридоре. Сейчас. Больше ничего.

Она больше не знала, что с ней будет.

Это было страшнее всего остального. Страшнее тишины, страшнее крови. Она шла к седьмым воротам и не знала, что ждёт её за ними. Так ходят люди. Каждый день, каждый шаг. Не зная.

Как они это выносят, подумала Иштар. Как они вообще встают по утрам.

* * *

Седьмые ворота были маленькими.

После огромных первых, после чёрных четвёртых, после ворот, которые уходили вверх во тьму, эти были почти домашними. Низкая дверь из старого дерева, рассохшаяся, потрескавшаяся, с железным кольцом вместо ручки. Человеку пришлось бы нагнуться, чтобы войти.

Нети стоял у двери и ждал.

Иштар знала, что он возьмёт. Это было последнее, что у неё оставалось.

- Не надо, - сказала она.

Она сама не поверила, что сказала это. Иштар никогда никого не просила. Ни отца Ану, ни Энлиля, никого. Просить было ниже её. Просили её.

- Не надо, Нети. Пожалуйста.

Нети протянул руки и снял с неё платье.

Оно соскользнуло с плеч беззвучно, как вода. Белое, тонкое, сотканное из её имени. Нети сложил его, аккуратно, вчетверо, как складывает служанка бельё хозяйки, и положил на сгиб руки.

Иштар стояла голая перед низкой дверью.

Ей стало холодно. Не так, как бывает холодно ночью в пустыне, а иначе. Холод шёл изнутри, из груди, оттуда, где несколько ворот назад она впервые услышала своё сердце. Ей казалось, что вместе с платьем с неё сняли что-то ещё. Кожу. Нет, не кожу. Что-то под кожей.

Она пыталась вспомнить, как её зовут.

Имя было. Она знала, что оно есть. Оно было где-то рядом, на краю, как слово, которое вертится на языке и не даётся. Она помнила звук. Помнила, что это имя кричали на поле битвы и шептали на брачном ложе, что им клялись и проклинали. Но само имя ускользало.

- Как меня зовут? - спросила она. - Нети. Как меня зовут?

Нети открыл дверь.

- Тебя ждут, - сказал он.

* * *

Тронный зал её сестры был огромным, и в нём не было ничего.

Ни колонн, ни росписей, ни светильников. Только серый камень пола, такой гладкий, что в нём отражалась темнота. Стены уходили в стороны и терялись, потолка не было видно. Посреди зала, на возвышении из семи ступеней, стоял трон. Простой, тяжёлый, из того же серого камня. На троне сидела женщина.

Эрешкигаль.

Иштар не видела её с тех пор, как они были девочками. С тех пор, как мир был мягким, а их отец делил его между детьми. Она помнила сестру худой, угловатой, с длинными руками и вечно опущенной головой. Девочкой, которая всегда плакала.

Женщина на троне не плакала.

Она была высокой, выше Иштар. Худой до костей. Кожа серая, как у Нети, но в этой серости было что-то другое, какой-то тусклый отсвет, как у старого серебра. Волосы чёрные, распущенные, падали до самого пола и лежали на ступенях трона, как пролитые чернила. Глаза у неё были как у Иштар. Те же глаза. Только в них не было света.

Вокруг трона, полукругом, сидели семеро. Старые. Очень старые, древнее самого времени. Их лица были закрыты, а руки лежали на коленях ладонями вверх. Ануннаки. Судьи нижнего мира.

Иштар стояла у двери, голая, без имени, и смотрела на сестру.

А потом сделала то, что сделала бы всегда. То, ради чего пришла.

Она пошла к трону.

Через весь зал, по серому камню, босыми ногами. Семеро не шевельнулись. Эрешкигаль смотрела, как она идёт, и тоже не двигалась. Иштар поднялась по ступеням. Одна. Две. Семь. Остановилась перед сестрой.

- Встань, - сказала она.

Голос был обычный. Не божественный. Голос голой замёрзшей женщины. Но Эрешкигаль встала.

Может быть, от удивления. Может быть, потому что так было нужно ей самой. Иштар никогда этого не узнала. Сестра поднялась с трона и отошла на шаг в сторону, и Иштар села.

Камень был холодным. Таким холодным, что от него заломило спину.

Но это был трон. Трон нижнего мира. Тот, ради которого она отдала венец, и серьги, и голос, и силу, и знание, и имя. Она сидела на нём. Под ней, внизу, во тьме, лежали все мёртвые, сколько их было от начала мира. И все они принадлежали ей.

Одно мгновение.

* * *

Семеро подняли головы.

Иштар не видела их лиц, их закрывали серые покрывала. Но она почувствовала, как они на неё посмотрели. Все семеро разом. Взгляд был тяжёлым, как гора.

Они ничего не сказали. Они не говорили. Один из них поднял руку ладонью вверх, медленно, и указал на неё.

И Иштар почувствовала, как в неё входит смерть.

Не боль. Не холод. Ничего похожего. Это было так, будто её вычёркивали. Как писец вычёркивает с таблички имя должника, который заплатил. Одну черту за другой. Сначала пальцы на ногах. Потом ступни. Колени. Она пыталась пошевелиться и не могла. Пыталась закричать и не могла. Пыталась вспомнить своё имя.

Не могла.

Последнее, что она видела, было лицо сестры. Эрешкигаль стояла рядом с троном и смотрела на неё сверху вниз. Без злорадства. Без жалости. Так смотрят на дождь, который наконец пошёл после долгой засухи.

- Ты пришла на похороны моего мужа, - сказала Эрешкигаль. Голос у неё был низкий, хриплый, как у человека, который много дней плакал, а потом перестал. - Девять дней я плакала, и никто не пришёл. Ни отец. Ни Энлиль. Никто. Ты пришла. Но не ко мне. За моим троном. - Она наклонилась. - Ты всегда приходила только за тем, что тебе не принадлежит. Сестрёнка.

Иштар хотела ответить.

Её уже не было.

* * *

Тело повесили на крюк.

Иштар знала это, хотя не могла знать. Мёртвые не знают ничего. Но что-то в ней, что-то, что не успели вычеркнуть, осталось и смотрело. Не глазами. Глаз у неё больше не было. Тем, что было глубже глаз.

Тело висело на железном крюке, вбитом в стену тронного зала. Голое. Серое. Голова свесилась на грудь, волосы закрыли лицо. Оно было похоже на кусок мяса в лавке мясника. Ничем не похоже на богиню. Ничем не похоже на неё.

Эрешкигаль иногда подходила и смотрела.

Это длилось долго. Иштар не знала сколько. Она не чувствовала времени. Может быть, мгновение. Может быть, вечность. Тело начало пахнуть. Сладко, тяжело. По стене к нему ползли многоногие.

И она слышала, как стонет её сестра.

Эрешкигаль не плакала больше. Она стонала, сидя на своём троне, долго, глухо, раскачиваясь из стороны в сторону, как раскачиваются женщины над мёртвыми. «О моё нутро. О моё сердце. О мой муж. О моя сестра». Снова и снова. Никто ей не отвечал. Семеро сидели вокруг трона и молчали. Мёртвые жевали глину. Нети стоял у двери.

Никто здесь не жалел свою царицу. Никто никогда не жалел её.

Иштар висела на крюке и слушала этот стон, и что-то в ней, то, что осталось, вдруг подумало: я тоже никогда её не жалела. Ни разу. Ни тогда, когда отец отдал ей мёртвых. Ни тогда, когда её мужа увели вниз. Ни сейчас.

Мысль была странной. Чужой. Иштар не знала, что с ней делать.

* * *

Потом прилетели мухи.

Две. Маленькие, серые, неприметные. Они пролезли под рассохшейся дверью седьмых ворот, прожужжали над головой Нети и сели на подлокотник трона. Эрешкигаль не обратила на них внимания. Она стонала.

- О моё нутро, - стонала она.

- О твоё нутро, - сказала одна муха.

Тихо, тонким голосом, будто кто-то говорил через тростинку.

Эрешкигаль замолчала.

- О моё сердце, - сказала она медленно, глядя на подлокотник.

- О твоё сердце, - повторила вторая муха. - Бедная. Бедная царица. Как болит твоё сердце.

Эрешкигаль смотрела на них. Долго. Потом протянула руку, серую, длинную, и мухи не улетели. Они сели ей на ладонь.

Это были не мухи. Иштар поняла это потом, много позже, когда ей рассказали. Это были два маленьких существа, которых мудрый Эа слепил из грязи у себя из-под ногтей. Ниншубур била в барабан у дверей собрания богов три дня. Энлиль её не принял. Нанна, луна, её не принял. А Эа выслушал, вздохнул, поскрёб ногтями ладонь и слепил двоих. Без пола, без имени, без жизни. Таких, которых законы нижнего мира не замечают, потому что законы писаны для живых и мёртвых, а эти не были ни тем, ни другим.

Он дал им пищу жизни и воду жизни. И научил одному: жалеть.

- Кто вы? - спросила Эрешкигаль. Её голос дрогнул. - Вы пожалели меня. Никто здесь меня не жалеет. Просите чего хотите. Хотите реку? Возьмите реку. Хотите поле с ячменём? Возьмите.

- Нам не нужна река, - сказала первая.

- Нам не нужно поле, - сказала вторая.

- Отдай нам тело, - сказали обе разом. - То, что висит на крюке.

Эрешкигаль медленно повернула голову. Посмотрела на крюк. На тело. Иштар чувствовала этот взгляд тем, что осталось от неё.

- Это тело вашей госпожи, - сказала Эрешкигаль. - Иштар.

- Отдай нам тело, - повторили они.

Эрешкигаль молчала долго. Так долго, что Иштар подумала: не отдаст. Оставит. Здесь, на крюке, навсегда. И это будет справедливо. Это будет правильно.

- Берите, - сказала Эрешкигаль.

* * *

Пища жизни была горькой.

Это было первое, что Иштар почувствовала. Горечь на языке, на губах, во рту. Потом вода. Холодная, сладкая, она лилась в горло, и горло, которое было мёртвым, сглотнуло. Потом пришло сердце. Оно ударило один раз, тяжело, как кулак в дверь. Потом второй.

Иштар открыла глаза.

Она лежала на полу у подножия трона. Двое маленьких существ сидели у неё на груди и смотрели на неё. Глаза у них были как у мух, только больше.

- Встань, госпожа, - сказали они. - Пора домой.

Она встала. Ноги не держали, и она упала на колени. Встала снова. Тело было чужим, тяжёлым, неуклюжим. Пахло от него тем, чем пахнет в лавке мясника. Иштар смотрела на свои руки и не узнавала их.

Ануннаки подняли головы.

- Кто выходил из нижнего мира невредимым? - сказал один из них.

Это был первый раз, когда Иштар услышала их голос. Он звучал так, будто говорили не семеро, а сама земля, вся толща камня, глины и костей над их головами.

- Если она хочет выйти, - сказали семеро, - пусть даст за себя замену.

И из темноты за троном вышли они.

Иштар видела их раньше. Не видела, слышала. Шаги рядом в темноте. Холодное на запястье. Голос у уха. Теперь она видела.

Они были похожи на людей так же, как тень похожа на человека. Длинные, тонкие, без лиц. Вместо лица у каждого было что-то гладкое и тёмное, как вода в колодце ночью. Их было семеро. Или больше. Они двигались так, что их нельзя было сосчитать.

Галлу. Слуги нижнего мира.

Они не едят, говорили о них в песнях. Не пьют. Не принимают даров. Не знают ни жены, ни ребёнка. Не знают жалости. Они вырывают жену из объятий мужа и ребёнка с колен отца. Им нет дела ни до кого, кроме того, за кем их послали.

- Они пойдут с тобой, - сказала Эрешкигаль.

Она снова сидела на троне. Прямо, спокойно. Её волосы лежали на ступенях.

- Они пойдут с тобой наверх, сестрёнка. Будут ходить за тобой день и ночь. И когда ты найдёшь того, кого не жалко, - она чуть улыбнулась, - нет. Не так. Когда ты найдёшь того, кого жалко, они возьмут его. Вместо тебя. Таков закон.

- Я не... - Иштар сглотнула. Голос был хриплым и чужим. - Я никого не...

- Знаю. - Эрешкигаль кивнула. - Ты никого не любишь. Никогда не любила. Поэтому я сделаю тебе подарок. На прощанье. Сестра сестре.

Она подняла руку, и Нети подошёл к трону. На сгибе его руки лежало белое платье, сложенное вчетверо.

Эрешкигаль взяла его. Расправила. Посмотрела на свет, которого здесь не было.

- Твоё имя, - сказала она. - Оно останется здесь. У меня. И венец, и голос, и всё остальное останется у ворот, где ты их бросила. А ты пойдёшь наверх без них. Ты пойдёшь наверх никем.

- Нет.

- Ты научишься, - сказала Эрешкигаль. - Ты будешь есть хлеб и пить воду. Ты будешь мёрзнуть и голодать. Тебе будет больно. Ты будешь молиться, и никто тебя не услышит. А когда ты полюбишь, если ты вообще сумеешь, мои слуги заберут того, кого ты полюбила. И приведут сюда, ко мне. И тогда ты узнаешь, как я плакала девять дней.

Она прижала платье к лицу. Вдохнула.

- Иди, - сказала она. - Иди, никто.

* * *

Двое маленьких существ взяли её за руки и повели.

У седьмых ворот их ждал Нети. На сгибе его руки лежало что-то серое, тяжёлое, сшитое из слипшихся перьев. Такое же платье, как на мёртвых в коридорах.

- Надень, - сказал он.

Она надела, потому что больше надеть было нечего. Перья были влажными и пахли сырой землёй.

- Моя царица велела передать, - сказал Нети. - Носи и помни. Ты была одной из нас. Ты должна нам одного из своих.

Он открыл низкую дверь, и они пошли дальше. Через шестые ворота. Через коридоры, где серые мёртвые в перьях жевали глину и поднимали головы, когда она проходила мимо. Они больше не называли её Владычицей. Они не узнавали её. Она шла в платье из перьев, с запёкшейся кровью на ладони, и мёртвые смотрели на неё, как на любую другую тень.

У пятых ворот в пыли лежали два золотых браслета. У четвёртых лежали пластины «Приди, приди». У третьих - синее ожерелье. Она видела их краем глаза. Не нагнулась. Не потому, что Иштар не нагибается за вещами. Она уже не помнила, что это её вещи.

За ней шли галлу. Близко. Так близко, что она чувствовала холод между лопатками.

У первых ворот, в пыли, тускло, как медная миска, лежал венец.

Она прошла мимо.

Ступени вверх. Кривые, стёртые, глиняные. Много ступеней. Она поднималась, падала, поднималась снова. Маленькие существа тянули её за руки. Где-то наверху был свет, сначала нитка, потом полоска, потом щель.

Потом вода.

Она не поняла, откуда взялась вода. Ступени кончились, и под ногами вдруг стало мягко, скользко, и что-то холодное и тяжёлое обхватило её до пояса, потом до груди, потом с головой. Вода была бурой и пахла илом. Её подхватило и потащило, и повернуло, медленно, лицом вниз, как будто она что-то разглядывала на дне.

Маленьких существ больше не было. Они выполнили своё дело и ушли туда, куда уходят те, у кого нет имени и жизни.

А она плыла.

Над ней было небо. Она видела его сквозь бурую воду, светлое, огромное, далёкое. Она не помнила, как оно называется. Не помнила, как называется вода, и как называется свет, и как называется она сама.

Она помнила только одно. Голос на троне. Иди, никто.

Река несла её на юг. Туда, где за поворотом, на высоком берегу, начинались поля, и каналы, и стены большого города.

Глава четвёртая

Седьмая

Первым её нашёл пёс.

Ур-Нанше услышал, как тот воет у воды, и сначала решил, что пёс поймал крысу. Потом понял, что так на крыс не воют. Так воют на покойника. Долго, на одной ноте, поджав хвост и пятясь от того, на что воешь.

Ур-Нанше отложил сеть и пошёл к реке.

В камышах, у самого берега, лежала женщина. Лицом вниз, в бурой воде, раскинув руки. Волосы спутались с камышом. На ней было что-то серое, мокрое, слипшееся, похожее на шкуру дохлой птицы.

Утопленница, подумал Ур-Нанше. Ещё одна.

Река приносила их часто. Особенно весной, когда в верховьях прорывало дамбы. Иногда он находил их в своих сетях и отпускал обратно, потому что хоронить чужих мертвецов - дело жрецов, а у жрецов не допросишься. Он уже повернулся, чтобы уйти, когда женщина пошевелилась.

Пальцы. Сначала пальцы на левой руке. Они медленно сжались, загребли ил. Потом разжались.

Пёс взвизгнул и убежал.

Ур-Нанше стоял и смотрел. Ему было шестьдесят лет, он видел мёртвых и видел живых, и разницу знал хорошо. Мёртвые не двигают пальцами. Но и живые не лежат лицом в воде так долго.

Он вошёл в реку по колено, взял женщину за плечи и перевернул.

Глаза у неё были открыты.

* * *

Она не помнила, как оказалась на берегу.

Помнила воду. Бурую, тяжёлую. Помнила, как её крутило, и небо то появлялось, то исчезало. Потом были чьи-то руки. Жёсткие, мозолистые, пахнущие рыбой. Потом трава под спиной, колючая, мокрая. И лицо над ней. Старое, тёмное, морщинистое, с седой бородой, заплетённой в две косицы.

Лицо что-то говорило. Она понимала слова, но не понимала, зачем они.

- Ты живая? Слышишь меня? Эй. Живая?

Она хотела ответить и закашлялась. Из горла хлынула вода, много воды, горькой, с илом. Она кашляла, пока не потемнело в глазах, а старик держал её за плечи и бормотал что-то, и ладонь у него была тёплая.

Тёплая.

Она не знала, почему это слово кажется ей странным.

Когда кашель кончился, она лежала на траве и смотрела в небо. Небо было синим. Очень синим, ярким, таким, что больно глазам. По нему плыли белые клочья. Птица пролетела. Она смотрела на всё это и не знала, как оно называется.

Нет. Знала. Небо. Облака. Птица. Слова были. Но они были пустыми, как кувшины, из которых вылили воду.

- Как тебя зовут? - спросил старик.

Она открыла рот.

И ничего не нашла.

Там, где должно было быть имя, была дыра. Гладкая, холодная, ровная, как будто имя вырезали ножом. Она тянулась к нему, как тянется язык к выбитому зубу, и не находила ничего. Только край. Только холод.

- Я не знаю, - сказала она.

Голос был хриплый и чужой. Она не узнала его. Впрочем, она не знала, какой голос был бы своим.

Старик посмотрел на неё долго. Потом на серые перья, облепившие её тело. Потом снова на неё.

- Откуда ты?

- Я не знаю.

- Как попала в реку?

- Я не знаю.

Старик вздохнул. Вытер мокрые руки о набедренную повязку.

- Ну, - сказал он. - Хоть одно ты знаешь. Что не знаешь. Это уже кое-что.

* * *

Его хижина стояла на сваях над заводью, в получасе ходьбы от городских стен. Тростниковые стены, тростниковая крыша, тростниковый пол. Внутри всё пахло рыбой, дымом и старостью. Очаг из трёх камней. Сети на стенах. Циновка в углу. И ещё одна циновка, свёрнутая, перевязанная верёвкой, в самом дальнем углу. На неё никто не садился. Это было видно.

Старик дал ей одежду. Простое льняное платье, выцветшее, залатанное на локтях.

- Жены, - сказал он коротко. - Ей уже не нужно.

Она стянула с себя серые перья. Они отходили неохотно, липли к коже, оставляли на ней серые разводы. Когда она бросила их на пол, старик посмотрел на кучу мокрых перьев так, как смотрят на змею.

- Сжечь, - сказал он.

- Нет.

Она сама не поняла, почему сказала это. Слово вырвалось раньше, чем она подумала. Старик поднял брови.

- Это одежда мертвецов, девочка. Я знаю. Так их одевают внизу. Моя бабка рассказывала.

- Не жги.

Она не знала почему. Знала только, что если он сожжёт перья, то случится что-то плохое. Что она забудет что-то важное. Что-то, чего она и так не помнила. Это было глупо. Она понимала, что это глупо.

Старик пожал плечами. Взял перья концом палки, вынес наружу и затолкал под сваи, в тину.

- Пусть лежат, - сказал он. - Но в доме - нет.

* * *

Он накормил её.

Лепёшка. Ячменная, плоская, твёрдая, вчерашняя. Сушёная рыба. Лук. Она смотрела на это и не знала, что с этим делать.

- Ешь, - сказал старик.

Она взяла лепёшку и откусила.

И что-то случилось внутри.

Сначала во рту. Вкус. Пресный, сухой, чуть сладковатый, с горечью подгоревшего края. Потом в горле, когда она проглотила. Потом в животе. Там, в животе, проснулось что-то, о чём она не знала. Что-то, что заворочалось, потянулось, сжалось, заскулило, как пёс, и потребовало: ещё.

Она откусила ещё. И ещё. Она запихивала лепёшку в рот, давилась, кашляла, рвала зубами сушёную рыбу, жевала лук, не чувствуя, как жжёт язык. Слёзы текли по лицу, и она не знала почему. Старик смотрел на неё и не говорил ни слова.

Когда еды не осталось, она сидела и смотрела на пустые руки. Живот был полным и тяжёлым. Внутри было тепло.

- Это голод, - сказал старик. - Был.

- Голод, - повторила она.

Слово было знакомым. Она знала его. Знала очень давно. Люди говорили его, она это помнила. Миллионы людей. Говорили, плакали, просили. Но она никогда не знала, что это такое.

Теперь знала.

- Ты как будто никогда не ела, - сказал старик.

- Может быть, - сказала она. - Я не помню.

* * *

Ночью она не спала.

Старик храпел на своей циновке у очага. Пёс, который так и не вошёл в хижину, скулил снаружи, под сваями. Река шелестела камышом. Где-то кричала ночная птица.

Она лежала на свёрнутой циновке, на той, что в дальнем углу, на которой никто не сидел, и смотрела на дверной проём.

В проёме стояли тени.

Она видела их и днём, на берегу, когда старик вёл её к хижине. Краем глаза. Что-то длинное, тёмное, тонкое, шло рядом, по камышам, не приминая их. Она поворачивала голову, и там никого не было. Отворачивалась, и они снова шли.

Сейчас они не прятались.

Они стояли в проёме, плечом к плечу, высокие, выше дверного косяка, так что их головы терялись в темноте. Лиц у них не было. Там, где должно было быть лицо, было что-то гладкое и чёрное, как вода в колодце ночью. Их было много. Она пыталась сосчитать и сбивалась.

Они не входили. Просто стояли и смотрели на неё.

Старик храпел и ничего не видел. Пёс под сваями скулил.

Она лежала и не шевелилась. Сердце колотилось так, что было больно. Она знала, что должна закричать, разбудить старика, бежать. И не могла. Тело не слушалось.

Одна из теней наклонилась. Медленно. Через порог, в хижину. Её гладкое безликое лицо приблизилось к лицу девушки так близко, что она почувствовала холод. И запах. Мокрая глина. Старая зола. Хлеб, пролежавший в закрытом горшке слишком долго.

- Мы подождём, - прошептала тень. Голос был сухой, как песок. - Мы умеем ждать.

Она закрыла глаза. Когда открыла, проём был пуст.

Где-то за рекой начинало светать.

* * *

Её назвали на седьмой день.

За эти семь дней она узнала много. Узнала, что такое холод: это когда ночью сквозь тростниковые стены дует с реки, и ты сворачиваешься на циновке, поджав колени, и всё равно дрожишь. Узнала, что такое боль: это когда режешь палец, чистя рыбу, и кровь течёт по ладони, тёплая, солёная, и палец потом весь день пульсирует, как маленькое второе сердце. Узнала, что такое усталость: это когда весь день тащишь сети, и к вечеру руки не поднимаются, а спина горит, как обожжённая.

Она узнала, что такое смех. Это случилось на четвёртый день, когда старик, вытаскивая сеть, поскользнулся на иле и сел в реку. Сел ровно, торжественно, как царь садится на трон, и остался сидеть, по грудь в воде, с сетью в руках и с таким лицом, будто это он и собирался сделать. Она смотрела на него, и вдруг что-то поднялось у неё из груди, вырвалось изо рта, громкое, нелепое, и она согнулась пополам, и не могла остановиться.

Старик смотрел на неё из воды и тоже начал смеяться.

Потом он сказал, что так смеялась его жена. Громко. Некрасиво. Как ослица.

Потом сказал, что это хорошо.

Он не говорил о жене больше ничего. И о сыне тоже. Она узнала о сыне на шестой день, от соседки, которая пришла купить рыбы и долго разглядывала незнакомую девушку у очага.

- Лу-Утту, - сказала соседка, понизив голос, когда старик вышел. - Сын его. Один был у них. Забрали на стену в позапрошлом году. Царь же всех забирает, кто может носить кирпич. Мать его к весне и слегла. Как узнала. - Соседка помолчала. - А он упал. Со сходней. Говорят, сорок локтей летел. Тела не отдали. Закопали там же, за стеной, в общей яме, с другими. Даже имени не написали.

- Почему?

Соседка посмотрела на неё как на дурочку.

- Кто ж им имена пишет, девочка? Их там сотни. Царю нужна стена, а не имена.

Вечером она смотрела, как старик чинит сеть у очага. Как ходят его пальцы, узловатые, тёмные, быстрые. Как он иногда останавливается и смотрит на свёрнутую циновку в углу. На ту, на которой теперь спала она.

Она хотела сказать что-нибудь. Не знала что.

* * *

На седьмой день старик повёз в город рыбу и взял её с собой.

Урук вырос перед ними из утреннего тумана, огромный, тяжёлый, бурый. Стена. Она видела её и раньше, с берега, издалека. Но вблизи стена была не стеной, а горой. Она уходила вверх и вверх, ряд за рядом обожжённого кирпича, и на самом верху копошились люди, крошечные, как муравьи. По сходням, вверх и вниз, тянулись вереницы с корзинами на спинах. Ветер доносил крики, скрип, глухие удары.

Она остановилась и смотрела.

Что-то в ней узнавало это. Не стену, нет. Другое. Взгляд сверху вниз. Город у ног, как рассыпанные кости. Люди, крошечные, бегущие, послушные. Она смотрела на стену, и ей казалось, что когда-то она уже видела её. С другой стороны. Сверху.

Голова закружилась. Она схватилась за борт тележки.

- Не смотри туда, - сказал старик. Голос у него стал жёстким. - Нечего туда смотреть.

Он хлестнул осла, и они въехали в ворота.

Город оглушил её. Шум, запахи, крики, толкотня. Торговцы, водоносы, писцы, жрецы, нищие, дети, собаки, козы. Кто-то ругался. Кто-то пел. Пахло пивом, навозом, жареным мясом, благовониями, потом. Она шла за тележкой, прижимаясь к её борту, и смотрела во все глаза.

У храма Эанна старик остановился.

Храм поднимался над городом ступенями, белый, огромный. Наверху курился дым. На ступенях сидели нищие, торговцы цветами, гадальщики. Женщины в тонких льняных платьях, с подведёнными глазами, проходили во двор храма и выходили обратно.

- Жрицы Иштар, - сказал старик и сплюнул. Не со зла. Просто так. - Дочь хранителя ворот меня тут знает, берёт рыбу для храмовой кухни. Подожди здесь.

Он ушёл во двор с корзиной.

Она стояла у подножия храма и смотрела вверх. На ступени. На вершину, где таял дым.

Ей вдруг стало трудно дышать.

Там, наверху. Что-то было там, наверху. Что-то её. Она чувствовала это так, как чувствуют потерянную вещь, когда входят в комнату, где её оставили. Не помнишь, что потерял, не помнишь, где положил, но знаешь: здесь. Где-то здесь.

Она поставила ногу на первую ступень.

- Ты кто такая?

Она обернулась.

Перед ней стояла женщина. Молодая, лет двадцати пяти, высокая, полногрудая, в платье из такого тонкого льна, что оно казалось сделанным из воды. Волосы у неё были уложены в сложную причёску, переплетённую нитями бус, на запястьях звенели медные браслеты. Глаза подведены сурьмой до самых висков, и в этих глазах было любопытство. И ещё что-то. Внимание. Как у кошки, которая заметила в траве непонятное.

- Я жду, - сказала она. - Старика с рыбой.

- Ур-Нанше? - Женщина подняла брови. - У Ур-Нанше нет дочерей. У него был только сын.

- Я не дочь. Он нашёл меня. В реке.

Женщина молчала. Потом медленно обошла её кругом, разглядывая. Так разглядывают козу на рынке. Или статую в храме.

- В реке, - повторила она.

- Да.

- И кто ты?

- Я не знаю.

- Как тебя зовут?

- Я не знаю.

Женщина остановилась перед ней. Посмотрела в глаза. Долго, внимательно, и девушке показалось, что эти подведённые глаза видят в ней что-то, чего не видит она сама.

- Я Шамхат, - сказала женщина. - Жрица этого храма. Мы берём к себе тех, кому некуда идти. Девочек, которых нашли у дороги. Вдов. Сирот. - Она помолчала. - Тех, кого вынесла река, мы тоже берём. Иштар любит потерянных.

Что-то дрогнуло у девушки внутри при этом имени. Едва заметно. Как дрожит вода от далёкого шага.

- Иштар, - повторила она.

- Богиня, которой служит этот храм. - Шамхат смотрела на неё внимательно. - Ты не знаешь, кто такая Иштар?

Она знала. Все знали. Богиня любви и войны. Утренняя и вечерняя звезда. Ей молились о любви, о сыновьях, о победе.

И всё-таки, когда она услышала это имя, внутри у неё стало холодно и пусто. Как будто кто-то назвал имя человека, которого она должна была помнить и не помнила.

- Знаю, - сказала она.

* * *

Ур-Нанше вышел из храмового двора с пустой корзиной и увидел, что девушка разговаривает со жрицей. Лицо у него стало тёмным.

- Шамхат.

- Ур-Нанше. - Жрица слегка наклонила голову. - Ты нашёл её в реке?

- Нашёл.

- Какой она была?

Старик помолчал. Посмотрел на девушку, потом на жрицу.

- Лицом в воде, - сказал он неохотно. - Я думал, утопленница. А на ней было платье мёртвых. Из перьев. Серое. Как их одевают внизу. Мой пёс выл на неё, как на покойника. До сих пор к ней не подходит.

Шамхат долго молчала.

- Когда это было?

- Семь дней назад.

- Седьмого числа месяца, - сказала Шамхат задумчиво. - В седьмой день после новолуния. - Она снова посмотрела на девушку. - У неё есть имя?

- Нет.

- Тогда пусть будет Сабиту. Седьмая. - Шамхат улыбнулась, впервые за весь разговор, и улыбка у неё оказалась неожиданно тёплой. - Иштар любит число семь. Семь ворот, семь сил, семь звёзд в Плеядах. Хорошее имя.

Девушка стояла и слушала, как её называют.

Сабиту.

Имя легло на неё неловко, как чужое платье. Не по размеру. Не по плечам. Оно было пустым, как кувшин, из которого вылили воду. Но в дыре, где раньше не было ничего, теперь было хоть что-то.

Сабиту, подумала она. Я Сабиту.

- Она пойдёт со мной, - сказала Шамхат старику. - В храм.

- Нет, - сказал Ур-Нанше.

- Ты один, старик. Тебе шестьдесят лет. У тебя нет ни жены, ни сына. Что ты будешь с ней делать? Учить её чинить сети?

Старик побелел. Сабиту увидела, как сжались его кулаки.

- Не тебе говорить про моего сына, - сказал он тихо.

- Я не про сына. - Голос Шамхат стал мягче. - Я про неё. Посмотри на неё, Ур-Нанше. Она пришла из реки в платье мёртвых. Она не помнит своего имени. И она смотрит на наш храм так, как будто он её дом. Я хочу знать почему.

Старик молчал.

Сабиту смотрела на него. На седую бороду в две косицы. На узловатые руки, которые семь дней кормили её, учили чистить рыбу и тянуть сети. На свёрнутую циновку, которая теперь будет снова лежать в углу, перевязанная верёвкой, и на которой опять никто не будет сидеть.

- Я буду приходить, - сказала она. Она не знала, почему это говорит. Слова пришли сами. - Каждый седьмой день. Помогать с сетями.

Ур-Нанше посмотрел на неё долго. Потом отвернулся и пошёл к тележке.

- Каждый седьмой, - сказал он, не оборачиваясь. - И чтобы не опаздывала. Рыба не ждёт.

Он уехал. Сабиту смотрела ему вслед, пока осёл с тележкой не исчез в толпе.

Ей было больно. Где-то под рёбрами. Она не понимала, что это за боль. Её никто не резал, она не падала, не тащила сети. А болело.

- Пойдём, Сабиту, - сказала Шамхат и взяла её за руку.

Они поднялись по ступеням храма.

Ни одна из них не обернулась. А если бы обернулись, то, может быть, Шамхат заметила бы то, что видела Сабиту краем глаза. У подножия храма, в толпе, среди торговцев и нищих, стояли высокие тёмные тени без лиц. И смотрели не на храм. Они смотрели туда, куда уехал старик с пустой корзиной.

Глава пятая
Девушка у стены

Кирпич стоил дороже человека.

Гильгамеш никогда не говорил этого вслух. Это говорили за него. Писцы, считавшие расход. Надсмотрщики с палками. Старшие над печами, где кирпич обжигали по три дня и три ночи, и жар стоял такой, что у людей трескались губы. Обожжённый кирпич везли из-за реки, сушили, обжигали, клеймили царским знаком. Один кирпич - один день работы одного человека. Человек же стоил ровно столько, сколько стоит его еда. А еда в Уруке была дешёвой.

Поэтому, когда молодой носильщик на нижних сходнях споткнулся и уронил корзину, и шесть кирпичей с царским знаком раскололись о камень, надсмотрщик поднял палку раньше, чем кто-нибудь успел подумать.

Гильгамеш видел это сверху. С высоты сорока пяти локтей люди внизу были маленькими, и удары палки казались беззвучными. Носильщик упал на колени, закрыл голову руками. Надсмотрщик бил по спине, по плечам, по рукам. Ровно, размеренно, как молотят зерно.

Обычное дело. Гильгамеш отвернулся.

И услышал, как внизу закричала женщина.

* * *

Женщины из храма Эанна приходили к стене каждый седьмой день. Так повелось с первого года стройки. Жрицы Иштар несли строителям воду, хлеб, иногда пиво. Иштар любит тех, кто трудится, говорили жрицы. Гильгамеш думал, что Иштар любит, когда её хвалят, а храм любит, когда город видит, как он щедр. Но не запрещал. Строители после хлеба работали лучше.

Сейчас одна из них бежала по нижним сходням вниз, к надсмотрщику. Не жрица. Не похожа. Платье на ней было простое, выцветшее, залатанное на локтях. Волосы не уложены, просто стянуты сзади верёвкой. Босая.

Она добежала до надсмотрщика, когда тот поднимал палку в очередной раз, и схватила палку.

Обеими руками. За конец.

Надсмотрщик дёрнул. Палка не поддалась. Он дёрнул сильнее, и девушку протащило по сходням на шаг, но она не отпустила. Стояла, упершись ногами, и держала.

Вокруг остановились все. Носильщики с корзинами. Каменщики на кладке. Писцы у подножия. Жрицы с кувшинами застыли на середине сходней, как куры, увидевшие лису.

- Отпусти, - сказал надсмотрщик. Гильгамеш видел, как шевелятся его губы.

Девушка что-то ответила. Он не расслышал.

Надсмотрщик отпустил палку. Девушка от неожиданности качнулась назад, чуть не упала. А надсмотрщик шагнул к ней и замахнулся кулаком.

Гильгамеш пошёл вниз.

* * *

Он не помнил, как спустился. Помнил только, что люди на сходнях шарахались в стороны, прижимались к кладке, кто-то уронил корзину, кто-то упал. Когда он оказался внизу, надсмотрщик уже стоял на коленях, держась за щёку, а девушка стояла над ним с палкой в руке.

Она ударила его. Палкой. По лицу.

Гильгамеш остановился в трёх шагах.

Надсмотрщик увидел царя первым. Он рухнул лицом в пыль, раскинув руки, и забормотал, глотая слова. Носильщик, которого он бил, лежал рядом, свернувшись, и не поднимал головы. Жрицы на сходнях опустились на колени. Каменщики, носильщики, писцы - все. Волна прошла по стене снизу вверх, как ветер проходит по ячменному полю, и все склонились.

Девушка осталась стоять.

С палкой в руке. Босая, в залатанном платье, со спутанными волосами. Она смотрела на него.

Не так, как смотрят на царя. Гильгамеш знал, как смотрят на царя. Снизу вверх, быстро, украдкой, и сразу в землю. Или с ненавистью, исподлобья, как смотрели матери юношей на площади. Или с жадностью, как смотрели вельможи, которым что-то было нужно.

Она смотрела прямо. Так смотрят на стену. На засуху. На то, с чем нельзя договориться, но и кланяться ему незачем.

- Ты знаешь, кто я? - спросил он.

- Знаю. Ты царь. Ты строишь стену.

Голос у неё был хриплый, низкий. Она говорила медленно, как будто подбирала слова на языке, который знала давно, но давно на нём не говорила.

- На колени, - сказал Гильгамеш.

Она не пошевелилась.

- Зачем?

За его спиной кто-то из жриц тихо ахнул.

Гильгамеш смотрел на неё. Девчонка. Лет восемнадцати, не больше. Тощая, руки как тростинки. Он мог убить её одним ударом. Мог приказать, и её бы бросили в реку с камнем на шее, и никто бы не спросил, кто она была. Никто не знал бы даже её имени.

- Затем, что я царь, - сказал он.

- Он тоже на коленях, - сказала девушка и кивнула на избитого носильщика. - Его били. Он упал. Ты хочешь, чтобы я упала рядом?

- Я хочу, чтобы ты знала своё место.

- Я не знаю своего места. - Она сказала это просто, без вызова, как говорят о погоде. - Я вообще мало что знаю. Но я знаю, как его зовут.

- Кого?

- Его. - Она снова кивнула на носильщика. - Его зовут Ур-Баба. Ему шестнадцать. У него мать в Кулабе и две сестры. Он носит кирпич с весны. Я спросила его в прошлый седьмой день, когда давала ему воду.

Гильгамеш молчал.

- А ты знаешь, как его зовут? - спросила девушка.

Ветер шевелил её волосы. Где-то наверху, на стене, крикнула птица. Вокруг стояла тишина, такая плотная, что слышно было, как песок сыплется со сходней.

- Нет, - сказал Гильгамеш.

- А как звали Лу-Утту? - спросила она.

- Кого?

- Лу-Утту. Сына рыбака Ур-Нанше. Он упал с твоей стены в позапрошлом году. С сорока локтей. Его закопали за стеной, в общей яме. Без имени. Его мать умерла от горя через полгода. Его отец живёт один в тростниковой хижине и не разворачивает циновку сына. - Голос у неё дрогнул, и она разозлилась на себя за это, Гильгамеш видел. Сжала палку так, что побелели пальцы. - Ты знаешь, как его звали?

- Теперь знаю, - сказал Гильгамеш.

* * *

Она моргнула. Видимо, ждала не этого.

А Гильгамеш вдруг почувствовал запах.

Он пришёл ниоткуда. Не от неё, не от надсмотрщика в пыли, не от печей. Мокрая глина. Старая зола. Хлеб, который пролежал в закрытом горшке слишком долго. Так пахнет яма, которую выкопали для мертвеца и оставили на ночь открытой. Гильгамеш знал этот запах. Он стоял у гробницы отца, когда ему было одиннадцать.

За её плечом, на мгновение, мелькнуло что-то. Высокое. Тёмное. Без лица.

Он моргнул. Ничего. Сходни, кладка, жрицы на коленях. Солнце.

Запах тоже ушёл.

- Ты один её видел, - сказала тогда женщина у края поля. - Когда она вернётся, ты единственный узнаешь её.

Глупость. Гильгамеш тряхнул головой. Он не спал две ночи, вот и мерещится. Это просто девчонка. Наглая девчонка из храма, которая решила, что раз она подаёт воду строителям, ей можно бить царских надсмотрщиков.

- Как тебя зовут? - спросил он.

Она помедлила. Он заметил это. Как будто вопрос был трудным. Как будто ей нужно было вспомнить.

- Сабиту.

- Седьмая, - сказал Гильгамеш. - Кто тебя так назвал?

- Жрица Шамхат. Месяц назад.

- А до этого?

- До этого у меня не было имени.

Она сказала это и прямо посмотрела ему в глаза. Как будто ждала, что он засмеётся. Или ударит. Или не поверит.

Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего.

- Ур-Лугаль, - сказал он, не оборачиваясь.

Старший над строителями появился за его плечом, как всегда, неслышно.

- Царь.

- Этот, - Гильгамеш кивнул на носильщика, - Ур-Баба. Отправь домой. В Кулаб. На три дня. С пайком.

Ур-Лугаль помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы показать, что он удивлён, но не настолько, чтобы спорить.

- Да, царь.

- Этого, - Гильгамеш посмотрел на надсмотрщика, который всё ещё лежал в пыли лицом вниз, - убери со стены. На печи.

Надсмотрщик всхлипнул. Печи были хуже стены. На печах умирали чаще.

- А её? - спросил Ур-Лугаль, кивнув на девушку. - Она ударила царского человека, царь. Закон говорит...

- Я знаю, что говорит закон.

Гильгамеш смотрел на Сабиту. Она стояла всё так же прямо, с палкой в руке, и ждала. Не боялась. Он видел, что не боится. Не потому, что храбрая. Потому, что не понимает, чего бояться. Как ребёнок, который суёт руку в огонь.

Или как тот, кто однажды уже сгорел и не помнит этого.

- Отдай палку, - сказал он.

Она посмотрела на палку в своей руке, будто только что её заметила. Потом протянула ему. Он взял. Палка была тёплой от её ладони.

- Иди, - сказал Гильгамеш. - И в следующий седьмой день носи воду. Только воду.

- А если он снова будет бить?

- Не будет. Он будет на печах.

- А другой?

Гильгамеш почувствовал, как у него дёргается щека.

- Наглая, - сказал он.

Она чуть наклонила голову, будто попробовала это слово на вкус.

- Наверное, - сказала она. И пошла вверх по сходням, к жрицам, не оглядываясь. Босая. Прямая.

Жрицы на сходнях расступались перед ней так, как минуту назад строители расступались перед царём.

* * *

Шамхат он поймал у храмовых повозок, когда жрицы уже собирали пустые кувшины.

Жрица поклонилась низко, как полагается. Но, выпрямившись, посмотрела на него так, как смотрела всегда: с лёгкой насмешкой, которую трудно было в чём-то обвинить. Шамхат знала его с детства. Она была старше на год и когда-то, мальчишкой, он бегал за ней по храмовому двору, а она швыряла в него финиковыми косточками.

- Кто она? - спросил Гильгамеш.

- Сабиту.

- Это я знаю. Кто она такая?

Шамхат помолчала, перекладывая кувшины.

- Ур-Нанше нашёл её в реке месяц назад. Лицом в воде. Он думал, утопленница. А она открыла глаза.

- И?

- И ничего. Она не помнит, кто она. Не помнит, откуда. Не помнит своего имени. Она не знала, что такое хлеб, царь. Ур-Нанше дал ей лепёшку, и она ела так, будто никогда в жизни не ела. Не знала, что такое холод. Что такое боль. Она порезала палец и смотрела на кровь, как ребёнок смотрит на радугу. - Шамхат поставила последний кувшин в повозку. - И на ней было платье мёртвых.

Гильгамеш замер.

- Какое платье?

- Из перьев. Серое. Такое, в какие одевают мёртвых внизу. Ур-Нанше хотел сжечь, а она не дала. Он закопал его в тину под хижиной.

Гильгамеш смотрел на неё и видел реку. Бурую воду. Медленный поворот тела. Ребёнка лицом вниз.

- Утопленница, - сказал он. - Река приносит много мусора.

- Может быть, - согласилась Шамхат. - Только знаешь, что странно, царь? Она каждую ночь просыпается и смотрит на дверь. Я сплю в соседней келье. Я слышу. Она садится на циновке и смотрит на дверь до самого рассвета. Я спросила её, что там. Она сказала: «Ничего. Они просто ждут».

- Кто?

- Я тоже спросила кто. - Шамхат пожала плечами. - Она не ответила.

Повозки тронулись. Шамхат пошла рядом с ними, к храму, но через несколько шагов обернулась.

- Ты ведь знаешь, что через двенадцать дней жрецы будут гадать, царь? - сказала она. - По печени овцы. Кто из жриц станет Иштар в новогоднюю ночь.

- Знаю.

- И что в этом году твоя мать велела жрецам передать: царь придёт сам. Не статуя.

Гильгамеш не ответил. Он не знал, что мать это велела. Мать всегда знала, как сделать так, чтобы он узнавал о её решениях последним.

Шамхат улыбнулась, совсем как в детстве, перед тем как швырнуть финиковую косточку, и ушла.

* * *

Вечером он пошёл за стену. Один.

Общая яма была с северной стороны, за восьмыми воротами, там, где земля шла под уклон к болотам. Её не прятали, но и не показывали. Длинная полоса рыхлой земли, вытоптанной, поросшей сорной травой. Здесь лежали все, кто упал со сходней, кто умер у печей, кто однажды утром не проснулся на кирпичах. Пригнанные из деревень. Сыновья рыбаков. Носильщики, у которых были матери в Кулабе.

Без имён.

Гильгамеш стоял над ямой и смотрел, как садится солнце.

Где-то здесь лежал Лу-Утту. Он не знал где. Никто не знал. Он не помнил его лица. Скорее всего, никогда его не видел, а если и видел, то так, как видят муравья на сходнях. Маленькая фигурка с корзиной. Одна из сотен.

Его отец живёт один и не разворачивает циновку сына.

Сзади послышались шаги. Ур-Лугаль. Конечно. Старик всегда знал, где искать царя.

- Ты звал писца, царь.

За Ур-Лугалем шёл писец. Молодой, испуганный, с табличкой и палочкой. Он не понимал, зачем его привели к яме на закате. Никто не понимал.

- Кирпич, - сказал Гильгамеш. - Один. Обожжённый. С моим знаком.

Ур-Лугаль посмотрел на него долго. Потом ушёл и вернулся с кирпичом. Тяжёлым, тёмно-красным, ещё тёплым от печи. На одной стороне был выдавлен царский знак.

- Переверни, - сказал Гильгамеш писцу. - Пиши на другой стороне.

- Что писать, царь?

- Лу-Утту, - сказал Гильгамеш. - Сын Ур-Нанше, рыбака. Упал со стены Урука.

Писец смотрел на него, открыв рот.

- Пиши.

Писец писал. Медленно, аккуратно, вдавливая клинья в ещё мягкую обмазку, которой Ур-Лугаль покрыл кирпич. Солнце село, и Ур-Лугаль зажёг факел. При свете факела знаки казались чёрными.

Когда он закончил, Гильгамеш взял кирпич и положил его на край ямы. Знаками вверх.

- Завтра, - сказал он Ур-Лугалю, - узнай имена. Всех, кто здесь лежит. У старших над печами, у писцов, у родных. У всех, кого найдёшь. И пиши. На каждого кирпич.

- Царь, их здесь сотни.

- Значит, сотни кирпичей.

- Это сотни дней работы, царь. Стена...

- Стена подождёт.

Ур-Лугаль замолчал. Гильгамеш видел его лицо в свете факела. Старик смотрел на него так, как не смотрел никогда. Не с уважением, не со страхом. С чем-то третьим. Гильгамеш не знал, как это называется.

Он посмотрел на кирпич у своих ног. Одна сторона - его знак. Другая сторона - чужое имя.

Первое имя на стене Урука, которое не было его собственным.

Он не знал, почему это сделал. Не из-за девчонки. Нет. Девчонка была наглой, тощей, босой и ничего не понимала. Он сделал это потому, что сам всю жизнь боялся лечь в землю без имени. Только поэтому.

Так он себе сказал.

- Пойдём, - сказал он Ур-Лугалю. - Холодает.

Ночь и правда была холодной. Холоднее, чем обычно в этом месяце. Когда они уходили от ямы, Гильгамеш на миг почувствовал за спиной тот же запах. Мокрая глина. Старая зола.

Он не обернулся.

Глава шестая
Жребий

В храме Эанна было сто сорок ступеней, и Сабиту каждое утро мыла их все.

Так начинали все новенькие. Вода из канала, тряпка из грубой шерсти, от которой к полудню сходила кожа на ладонях. Сто сорок ступеней от подножия до первой площадки. Выше новеньких не пускали. Выше начинались покои жриц, а над ними, на самой вершине, святилище, куда входили только верховная жрица и царь. Раз в году.

Сабиту мыла ступени и смотрела вверх.

Её тянуло туда. Каждое утро, с первой ступени до последней. Так тянет к краю обрыва: не хочешь прыгать, а всё равно подходишь ближе и смотришь вниз. Только её тянуло не вниз, а вверх. На вершину, где таял в небе дым благовоний.

- Не смотри туда, - сказала ей однажды старшая над новенькими, сухая, злая женщина по имени Иддин-Нана. - Вершина не для таких, как ты.

- А для каких?

Иддин-Нана посмотрела на неё так, будто Сабиту плюнула на алтарь.

- Для тех, у кого есть имя, - сказала она. - Настоящее. Данное матерью. А не жрицей у ворот.

Сабиту промолчала. Она уже знала, что в храме лучше молчать. За месяц она узнала о храме многое.

* * *

Храм был городом в городе.

Здесь жили сотни людей. Жрицы, младшие и старшие, жрецы, писцы, гадатели, певцы, музыканты, ткачихи, пекари, пивовары, пастухи храмовых стад, рабы, сироты, вдовы. Храму принадлежали поля за рекой, финиковые рощи, стада овец, лодки, мастерские. Храм давал в долг ячмень и серебро и брал за это треть. Храм кормил нищих и судил воров. Храм был богаче царя, и все это знали, и царь тоже.

А посреди всего этого, во внутреннем дворе, в святилище с кедровыми дверями, стояла богиня.

Сабиту увидела её на второй день. Шамхат привела её туда сама, рано утром, когда во дворе ещё никого не было.

Статуя была ростом с высокую женщину. Деревянная, обложенная золотом, с лицом, руками и ногами из светлого алебастра. На ней было платье из настоящего льна, тонкого, тоньше, чем у любой жрицы, и каждое утро его меняли на новое. На шее - ожерелье из лазурита в три ряда. В ушах - лазуритовые серьги до плеч. На груди - золотые пластины, соединённые в узор, похожий на раскрытый цветок. На запястьях - браслеты. В руке - жезл и свёрнутая верёвка. На голове - венец.

И глаза. Огромные, синие, из лазурита, обведённые чёрным.

Они смотрели прямо на Сабиту.

- Поклонись ей, - тихо сказала Шамхат. - Это Иштар. Владычица неба. Она любит потерянных.

Сабиту стояла и смотрела на статую.

Она должна была что-то почувствовать. Благоговение. Страх. Любовь. Шамхат рассказывала, что новенькие часто плачут, когда впервые видят богиню. Падают на колени. Просят.

Сабиту не чувствовала ничего этого.

Она чувствовала злость.

Холодную, тяжёлую, как камень на дне колодца. Она смотрела на золотые браслеты, на синее ожерелье, на венец, и злость поднималась в ней, медленно, откуда-то из живота, из того места, где в первый день у Ур-Нанше проснулся голод. Она не понимала её. Не понимала, на кого злится. На статую? На богиню? За что?

Красивая, подумала она. Ей молятся, её одевают, ей моют ноги молоком. А она стоит и смотрит своими каменными глазами. И ничего не слышит.

Сабиту не знала, откуда взялась последняя мысль.

- Поклонись, - шепнула Шамхат.

Сабиту поклонилась. Потому что Шамхат просила.

Когда она выпрямилась, ей показалось, что синие глаза статуи смотрят уже не на неё, а куда-то ей за спину. На дверь святилища. Туда, где в утреннем полумраке стояли высокие тёмные тени.

* * *

Тени были всегда.

Днём они прятались. Стояли в углах, за колоннами, в дверных проёмах, на самом краю зрения. Когда Сабиту поворачивала голову, их не было. Когда отворачивалась, они возвращались. Никто их не видел. Ни Шамхат, ни Иддин-Нана, ни другие новенькие, с которыми Сабиту спала в одной длинной келье на соломенных тюфяках. Она проверяла. Спрашивала осторожно, как бы между делом: ты ничего не видишь вон там, в углу? Нет, говорили ей. Паутину разве что.

А ночью тени выходили.

Они стояли в дверях кельи и смотрели на неё. Не входили. Просто стояли, высокие, без лиц, и ждали. Сабиту лежала на тюфяке и смотрела на них, и они смотрели на неё, и так проходила ночь.

Однажды она не выдержала. Встала, тихо, чтобы не разбудить других, подошла к двери и остановилась перед ними. Близко. Так близко, что почувствовала холод, идущий от них, как от открытого погреба.

- Чего вы ждёте? - спросила она шёпотом.

Тени молчали.

- Чего вы хотите от меня?

Одна наклонилась. Безликая, гладкая чернота оказалась у самого её лица.

- Ничего, - прошелестела тень. - Пока ничего.

- Пока?

- Мы ждём, когда ты кого-нибудь пожалеешь.

Сабиту не поняла. Пожалеешь. Что это значит? Как можно ждать, когда кто-то кого-то пожалеет? Зачем?

- А потом? - спросила она.

Тень выпрямилась и снова стала частью темноты.

- Потом мы его возьмём, - сказала она. - Вместо тебя. Таков закон.

* * *

Каждый седьмой день Сабиту уходила к Ур-Нанше.

Её отпускали. Иддин-Нана ворчала, что новенькие не должны покидать храм, но Шамхат сказала что-то верховной жрице, и Сабиту отпускали на рассвете и ждали к закату. Она шла через город, через ворота, вдоль канала, к хижине на сваях. Старик всегда был уже у воды, с сетями. Он никогда не говорил «здравствуй». Он говорил: «Опоздала». Даже если она приходила раньше солнца.

Они тянули сети. Чистили рыбу. Чинили то, что порвалось. Говорили мало. Ур-Нанше не любил разговаривать, а Сабиту не знала, о чём. Иногда он рассказывал о реке, о том, где лучше ловить и когда. Иногда о жене. О сыне - никогда.

На четвёртый седьмой день она принесла ему весть.

Об этом говорил уже весь Урук. Царь велел писать имена. Всех, кто лежит в общей яме за стеной. На обожжённых кирпичах. С обратной стороны царского знака. Писцы ходили по деревням, по улицам, по домам, спрашивали: кто у вас умер на стене? Как звали? Чей сын?

Над ямой уже лежали первые ряды кирпичей с именами, сорок или пятьдесят, и люди ходили туда смотреть, и плакали, и не понимали, что случилось с царём.

Первым был Лу-Утту, сын Ур-Нанше, рыбака.

Сабиту сказала это старику, когда они сидели у воды. Просто сказала, без всего. Как сказала бы, что идёт дождь.

Ур-Нанше долго молчал. Потом встал и ушёл в хижину.

Сабиту осталась у воды. Ждала. Слушала, как в хижине что-то шуршит. Долго. Потом стало тихо.

Когда она поднялась по шатким ступенькам и заглянула внутрь, старик сидел в дальнем углу. На циновке. На той самой, которая годами лежала свёрнутая, перевязанная верёвкой. Сейчас она была развёрнута. Старик сидел на ней, сгорбившись, и гладил ладонью тростник. Медленно. Так гладят по голове ребёнка, который уснул.

Сабиту не вошла. Она стояла в дверях и смотрела. И чувствовала, как внутри, под рёбрами, становится тепло и больно одновременно.

А потом почувствовала холод за спиной.

Она обернулась. На берегу, у воды, у самых свай, стояли тени. Их было больше, чем обычно. Они не прятались. Они стояли и смотрели не на неё. Мимо неё. В хижину. На старика на развёрнутой циновке.

Сабиту стало страшно. По-настоящему, так, что подкосились ноги.

Мы ждём, когда ты кого-нибудь пожалеешь.

Она не знала, что это значит. Но вдруг поняла, что не хочет знать. Что ей нужно уйти. Сейчас. Прямо сейчас.

- Мне пора, - сказала она в хижину. - Я пойду.

- Солнце ещё высоко, - сказал Ур-Нанше, не поднимая головы.

- Мне пора.

Она бежала до самых городских ворот. Не оглядываясь. Тени шли за ней, она слышала их бесшумные шаги рядом. Но у городских ворот она всё-таки оглянулась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.